

## Несколько слов о нескольких словах

*Гурко С.Л.*, Институт философии РАН, Москва  
sgourko@gmail.com

**Аннотация:** Цель статьи — рассмотреть возможность того, что обычная манера неаккуратной игры с такими понятиями, как страна, люди, нация, власть, национальный дух и т.д. вырастает из потребности государственной власти придать себе большую легитимность, притворяясь неким естественным процессом, опирающимся на вековечные сущности, а не технологией осуществления интересов ограниченной группы, опирающейся на способность принуждать силой. И если двусмысленность патриотического или националистического дискурса и не удастся вполне устранить, все же осведомленность о подобных трюках может быть полезной.

**Ключевые слова:** патриотизм, национализм, страна, народ, нация, государственная власть, паразитизм, симбиоз

---

У размышлений, а значит и у основанных на них разговоров, причинам теоретического характера, предшествуют причины практические, то есть исторические. Чаще всего всё начинается с недоумения, в попытке разъяснить которое можно забраться очень далеко. У основательного исследователя, вроде Фрезера один вопрос о причудливой процедуре смены персоны жреца священной рощи вылился в многотомную «Золотую ветвь». Предмет, которого я намерен коснуться, не столь экзотичен, но искреннее недоумение, систематически вызываемое обращением к нему, служит, как представляется, достаточным оправданием для бумагомарания. Речь пойдёт о терминологических недоразумениях, возникающих при обмене мнениями с носителями «патриотического» умонастроения в всём его спектре от ура-патриотизма до охочонюши-патриотизма.

Недоумение возникает относительно значения некоторых слов, систематически при этом употребляемых, причём употребляемых в качестве важных элементов аргументации. Это естественно предполагает, что значения этих слов очевидны обеим сторонам, а обозначаемое этими словами представляется реальностью и обладает высокой ценностью, опять-таки с точки зрения всех собеседников. Слова эти суть «страна», «народ», «нация», «государство», «территория», «население». Словом, терминологический ряд, употребимый в политологии или социологии, но также и в пропаганде, и в поэзии.

Поскольку апелляция к «интересам страны», или «выбору народа» всякий раз оставляла у автора этих строк ощущение понятийной невнятчицы, он принял за очевидное, что сами упомянутые слова нуждаются в основательном уточнении и упорядочивании. И, прежде, чем углубляться в этимологию или историю, хотелось бы по меньшей мере соотнести эти слова, выстроив из них иерархический список по какому-либо однородному основанию, памятуя о рекомендации хоть Платона, хоть Декарта, при отсутствии убедительных причин для выбора определённого объяснительного принципа или правила действия, выбрать хоть наугад.

Потому, не мудрствуя, привяжем озабочившие нас слова к шкале реальное–номинальное, уповая на то, что большая мера укоренённости в реальном гарантирует

меньшую подверженность слова противоречивым толкованиям. Разумеется, номинальность в природе слова как такового, однако, привычно считать что разнотений в толковании и употреблении слова «стол» всё же окажется меньше, чем затруднений со словом «справедливость». То есть доступность чувствам, воспроизведимость и малая изменчивость того, что обозначается словом, являются если не гарантией понимания, то хотя бы серьёзным подспорьем в объяснении.

Тогда в рассматриваемом нами наборе, в наибольшей степени связанным с реальным миром окажется слово «территория». В самом деле, это ведь просто обозначение участка земной поверхности, то есть объекта в существовании которого есть возможность удостовериться, и к тому же объекта, не подверженного быстрым и частым изменениям (катализмы меняют характеристики территории быстро, но случаются редко, постепенные трансформации идут постоянно, но медленно). То есть территория *есть* в более понятном смысле слова, чем, скажем, «народ».

Несмотря на обычай землепроходцев верноподданнически нарекать вновь открытое в честь суверенов или в крайнем случае своих близких, устойчивое наименования часто утверждалось после многих посещений, переименований и описаний. Но даже если очертания побережий или речные русла меняются, делают они это не настолько быстро, чтобы уточнение описания не могло подождать годы или десятилетия. И если какая-то «земля», «сторона» или «край» описывались как покрытые лесами или пронизанные реками, изобилующими рыбой, можно было надеяться что и при повторном посещении там всё ещё отыщутся и леса, и рыбное богатство.

Сколько-нибудь пригодные для жизни человека территории рано или поздно заселяются: люди умудряются устраиваться и в амазонских лесах, и в чукотской тундре, и на границе австралийской пустыни. Причём делают они это чаще без помощи какого-либо «государства». Если антрополог вознамерится понаблюдать племя амазонских индейцев, ему нужно будет получать какие-то разрешения у официальных представителей государства Бразилия, но собственно «в поле» ему не придётся иметь дела с государством, механизмы которого туда просто не дотягиваются. Таким образом, признаем вторым по степени укоренённости в реальном мире слово «население». Ненаселённые территории можно непосредственно наблюдать, а вот «население» без территории — оксюморон. Беженцы не в счёт, они населяют ту территорию на которой обретаются после бегства, а не ту, с которой бежали. И при всём при том, «население» уже более зыбкий термин: необходимо ли считать «населением» вахтовые бригады или артели, пользующие в сезонном режиме территории, которые вне сезона пустуют? А зоны кочевий? Использование слова «население» в таких случаях будет иметь политический характер, например для обоснования претензий какого-либо государства на территорию.

Государство или какая-либо иная форма территориальной власти появляется на населённой территории с эпидемиологической неизбежностью. Причём, чаще всего в исторических преданиях сомнительной достоверности описывается не самозарождение этого новообразования, а именно инфицирование, внешнее вторжение. Полумифическими основателями древних государств обыкновенно оказываются таинственные завоеватели. Часто смутная историческая память хранит целый перечень таких сменяющих друг друга притеснителей, от которых всего-то и остаётся, что «пословица до сего дни: погибуша аки обре». Если продолжать идти путём радикального упрощения, можно сказать, что изначально государство строится вокруг процедуры сбора дани, недаром попадающее в зону его влияния население обращается в *подданных*. Если граждане современных благоустроенных государств, по видимости, и являются причастниками государственной власти, поскольку именуются

избирателями, если за ними и признаются наряду с обязанностями также и права, то все эти изящные конструкции схлопываются при малейшем пополновении избежать главной ипостаси гражданина — ипостаси налогоплательщика, то есть всё того же лица подающего дань. Заметим, что мера реальности представленная в слове «государство» меньше таковой в слове «население». В самом деле, когда, скажем, отряд Хабарова, добравшись до удалённой территории, осчастливливает тамошнее население известием о том, что впредь они будут обязаны данью не далёкому императору Китая, а ещё более далёкому царю Московии, спор между вооружёнными представительствами двух государств на дальних границах затягивается и носит отчасти анекдотический характер с попрежнему использованием одних и тех же снарядов двумя войсками и хлопотного разрешения юридической коллизии с правомочностью низкорождённого завоевателя собирать дань в пользу царя. Тогдашние государства до столь удалённых территорий попросту были почти не в состоянии дотянуться в силу технологических ограничений на скорость перемещения информации и людей, а также из-за ограниченности материальных ресурсов. Население же таких территорий склонно было оставаться на своём месте, вне зависимости от меры присутствия какого-либо государства, разве что случится так, что противоборство соперничающих государств истребит потенциальных подданных вовсе или вынудит их к бегству. Коротко можно определить «государство» как паразитарное заболевание социального организма, уточнив при этом что между паразитизмом и симбиозом нет очевидной границы, что и демонстрируют современные преуспевающие государства, приобретая постепенно всё большее количество симбионтов по отношению к населению и ослабляя одновременно ущерб от паразитарной деятельности. Впрочем, симбиоз это ведь просто состояние устойчивого обоядного паразитизма. Слово *устойчивый* здесь ключевое. Иммунологи утверждают, что некоторые паразиты человека играют важную роль в работе иммунной системы, и попытка «окончательного решения вопроса» с ними грозит не только болезнью, но гибелю организма. Говорят даже, что митохондрии, без которых существование сложных клеток энергетически невозможно, произошли от внутриклеточных паразитов. То есть паразитизм, либо приводящий к гибели, либо перерастающий в симбиоз, это универсальное правило для живых систем. *Устойчивое* присутствие государства на населённой территории и производит в качестве своего эффекта то, что мы привыкли обозначать словом «народ».

В том, что «народ» это не просто «урожай людей», но и не самостоятельная вековечная сущность, а именно *эффект* симбиотического взаимодействия государства с населением можно убедиться на примере двух Корей. Единство языка, культурных навыков, географических условий, этнических корней не делают население двух смежных территорий на Корейском полуострове одним народом. Различие между воинственным аскетом северокорейцем и дисциплинированным трудолюбивым потребителем южнокорейцем очевидно даже на фотографии, и ещё нагляднее в движущемся изображении. Единственный человек в КНДР с южнокорейской внешностью это, похоже, тамошний действующий лидер. В таком случае и «новая историческая общность людей — советский народ» это не просто риторическая формула, а доступный наблюдению эффект, проявившийся тогда, когда разнообразное население обширных территорий притянулось к советской власти и выработало устойчивые приёмы существования с укрепившимся на этих территориях государством. Симбиотичность этих отношений выражалась в возможности для жителей использовать институты этого государства для собственной пользы, делать «советскую карьеру». Внешним проявлением подобного симбиоза обычно выступает право, или, шире, устойчивая система правил, позволяющая населению выбирать жизненные стратегии.

Но, поместив «народ» на четвёртую позицию нашей шкалы реальное–номинальное, мы тем самым констатировали некоторую эфемерность того, что обозначается этим словом. Получается, что «народы» производятся государствами и едва ли надолго их переживают (и, в общем-то, недолго о них переживают, к счастью). Вопрос о том, сколь быстро можно произвести народ, легко проиллюстрировать расхожими примерами из истории XX столетия. Например, народ Третьего Рейха сложился весьма быстро и обеспечил весьма заметную для всего мира деятельность породившего его государства. Народ этот демонстрировал единство эффекта и согласованность суждений, имел узнаваемые черты, и, однако, быстро сгинул после военного поражения нацистского государства.

Оговоримся, что «народные» эффекты могут наблюдаться и тогда, когда государство на данной территории не то что не демонстрирует устойчивого существования, но по-видимости прямо распадается. Имеется в виду эффекты вроде народной или отечественной войны, когда единодушная решимость значимой части населения какой-либо территории обеспечивает военные успехи, политические преобразования, и, в конечном итоге, учреждает новое государство. В качестве примеров можно упомянуть наше Смутное время начала XVII века или Американскую революцию конца XVIII. В обоих случаях «народ» от имени которого пишется конституция или учреждается новая династия тоже возникает как эффект, но как эффект противодействия государству, неудачно претендующему на господство над населённой территорией. В противостоянии притязаниям Англии или Польше жители формируют «народное» движение, постепенно угасающее после установления новой государственности, которая, в случае если ей удастся продержаться исторически значимое время, произведёт уже другой «народ» сообразно своей государственной физиологии, и связанный с прежним — государствоучреждающим народом, лишь культурной преемственностью, писанной в одном случае, и фольклорной в другом.

Тогда «страной» в типичном случае уместно будет называть населённую территорию, на которой *устойчивое* функционирование некоего государства породило в качестве своего эффекта народ, как носитель жизненных правил, не определяющихся непосредственно географическими или этнографическими обстоятельствами, но прежде всего практикой систематического обоядного паразитизма государства и населения. Местом функционирования такой системы правил и оказывается «страна» как предмет дисциплины «страноведение» и как объект обыденных представлений, оперирующих генерализующими штампами часто мифологической природы (если Сицилия, то это про мафию, а если Румыния — про вампиров).

Добравшись до пункта «страна» на нашей терминологической шкале, мы неизбежно попадаем в область парадоксов. Государство, настаивающее, между прочим, на обязанности населения защищать «страну» во всякий момент контролирует какую-то вполне определённую территорию, но ведь исторические перипетии приводят к изменениям границ. Так Эльзасу на протяжении новейшей истории довелось несколько раз поменять государственную принадлежность. И если после Франко-Прусской войны местному населению предоставлялся выбор: принять новое подданство или покинуть территорию, то в середине XX века эльзасцев забирали в рейхсвер и отправляли на фронт, не интересуясь их представлениями о собственной идентичности. В наше время досужему путешественнику заметно, что на этих землях равно употребимы немецкий и французский языки, что кухня там является причудливое соединение традиций (уже квашенная капуста, но ещё тушёная в белом вине), что на вывеске торгового заведения легко сочетается образцово французское имя с образцово немецкой фамилией. И что до Парижа оттуда хоть и ближе, чем до Берлина, но тоже довольно далеко. Современному жителю Эльзаса может оказаться удобнее работать на противоположном берегу Рейна,

но уж налоги-то он должен платить Французской Республике. С другой стороны, Восточная Пруссия пробыла в составе Российской Империи четыре года, и Кант даже успел написать полное верноподданнических выражений прошение о профессорской кафедре Елизавете Петровне, но по окончании этого не особенно продуктивного для него периода он снова и уже окончательно стал прусским подданным и никаких особых отношений с Россией не имел.

Представление о «странах» и «народах», их населяющих, как об устойчивых сущностях очевидно нуждается в уточнении. В самом деле, либо «немцы», которых мы знаем сегодня, это те же «немцы», которые разделяли национал-социалистические расовые представления и приветствовали планы расширения жизненного пространства, но тогда они же чудесным образом ответственны за «немецкую классическую философию» и даже (в обличье «древних германцев») за разгром римских легионов в Тевтобургском лесу, либо разные «немцы» это омонимы, которыми мы лишь по небрежности можем обозначать одновременно множество *противников* в кровопролитнейших войнах, например в Тридцатилетней войне.

Очевидный интерес в укреплении представлений о примордиальности таких идеальных образований, как «страна» и «народ» есть у сущности куда более вещественной, у «государства». Для власти вообще и для государственной власти в частности характерно стремление предстать в обличье явления квазиприродного, осуществляющего естественный порядок вещей. Тут всё: от «божественного права королей» (а заодно и склонности последних выводить свой род от полумифических персонажей древней истории) до гегелевской концепции государства как объективации Духа. Проецируя в прошлое «страну» и «народ», государство добивается собственной легитимации. Правда при этом приходится несколько вольно обходиться с историческими сведениями, иначе не получится поместить в общий народный пантеон, скажем, непримиримых противников давней гражданской войны. Лояльность потерпевшей поражение части населения не тождественна «народному единству». Так выполнение распоряжения городского совета Нового Орлеана о демонтаже памятников сторонникам рабства — видным конфедератам затянулось на два года из-за сопротивления тех, кто до сих пор любит щеголять надписью «генерал Ли сдался, а я нет».

Следствием предлагаемого прочтения терминов «страна» и «народ» непременно окажется перемена в вопросе о вменении вины или заслуг. С одной стороны, реальными действователями всегда окажутся жители какой-либо территории, просто потому, что идеальные сущности не в состоянии ни созидать ни убивать иначе как через посредство реальных людей. С другой стороны, те же самые руки могут и стрелять и строить, смотря по тому какая склонность окажется более востребованной и, соответственно, воплощаемой в очередной действующей модели *Volksgeist*. Каковой «народный дух», в свою очередь, демонстрирует ту же степень эфемерности, что и «народ». Достаточно вспомнить эпизод поголовного выселения чеченцев и ингушей в 1944 году. Вероятно это были какие-то другие горцы, отличные от тех, что противостояли Российской Империи в XIX веке и Российской Федерации в самом конце XX, не склонные к безрассудной храбости и не отличающиеся неукротимой воинственностью.

То есть статистически значимые характеристики у «народа» есть, но определяются они в значительной мере историческим контекстом. На долю устойчивых предрасположенностей остаются скорее структурные инварианты. Так «народ-богоносец» легко перевоплотился после Русской революции в колективного богоборца, а спустя десятилетия массового господства атеистических взглядов с тем же пластическим изяществом обзавёлся религиозной идентичностью (варьирующейся в

зависимости от места проживания и этнических корней). Общего у этих позиций — только отмечавшаяся иностранными путешественниками ещё в XIX веке склонность местного населения к суевериям. Устойчивый интерес как части публики, так и значительного числа представителей власти к наукообразными конспирологическим построениям растёт из того же корня.

Во всяком случае, полагаться на принадлежность к «народу» как на способ конструирования идентичности, позволяющей предсказывать сюжеты, или, точнее, прогнозировать действия субъектов представляется не слишком благоразумным. В «Войне и мире» есть примечательный эпизод, когда крепостные Болконских отказываются бежать вместе с господами от приближающегося неприятеля. И делают они это вовсе не из якобы присущего «национальному характеру» фаталима, а из расчёта, пусть и необоснованного, что «французы дадут волю». Если относить эту сцену на счёт авторской фантазии, то и сцены, льстящие национальному самолюбию окажутся под вопросом. Впрочем, изрядная осведомлённость Толстого об описываемом времени и возможность основываться на воспоминаниях живых ещё тогда участников событий обыкновенно не оспаривается. Кроме того, история с крестьянами, надеющимися, что враги могут дать им избавление от тягот, повторилась во время Второй Мировой. Сохранились отчёты уполномоченных НКВД о распространённых в крестьянской среде разговорах о том, что, дескать, «немцы отменят колхозы». Дело не в том, что надежды эти были совершенно фантастичны, а в том, что ни «дух народа», ни даже обычная ксенофобия не препятствовали распространению этих слухов. Ещё одним примером может служить история дезертирства из оккупационного корпуса во Франции после победы над Наполеоном. Историки, оценивая как завышенные численные данные из воспоминаний одного из участников похода, всё же сходятся к немалому количеству — порядка десяти тысяч. Известные сетования из письма Ростопчина дополняются формальными отчётами об экзекуции пойманных, некоторые из которых получали наказание за второй и даже третий побег. И здесь самое интересное — дальнейшая судьба удачливых беглецов: по-видимому ни языковой барьер, ни культурные различия, ни религиозные разнотечения не помешали им стать французами.

Так мы добрались, наконец, и до слова «нация». Примордиалист станет выводить это понятие из этнических оснований, конструктивист опишет как «воображаемое сообщество», а эстатист и вовсе редуцирует к понятию «гражданство». Если случится рядом историк, он ещё и намекнёт на ограниченную историческую применимость термина. В самом деле, ведь когда в XIII веке жители Перуджи резали жителей Ассизи, нелепо спрашивать которые из них были итальянцами. Или в столкновениях Москвы и Новгорода — кто русский? Если ответ «все», то всю историю придётся представлять как практически непрерывную гражданскую войну (в которой воюют «граждане» не учреждённого ещё, а потому виртуального государства). Благоразумнее тогда удовлетвориться ответом — «никто». Государствам, однако, как уже было сказано потребна историческая (или хотя бы мифологическая) укоренённость. Поэтому вдруг обнаруживаются какие-то невероятные украинцы гомеровских времён (имеется в виду не остроумное упражнение Котляревского, а школьные учебники начала 90-х). Впрочем, в советское время учебник «Рассказы по истории СССР» прямо начинался с палки-копалки и каменного рубила.

Понятие «нация» — сравнительно позднее изобретение, более-менее укрепившееся как раз ко времени, когда технологии и производства, и истребления сделали целесообразной мобилизацию огромных людских толп (все утвердились в мысли, что «бог на стороне больших батальонов»). При этом националистическая мифология с «почвой», «кровью» и сопутствующими субстанциями вначале не была

укоренена глубоко: воевавшие в составе наполеоновских армий против России вполне могли потом сделать карьеру на русской службе, представить подобное в середине XX века труднее. Кульминации развитие этой социальной технологии мобилизации достигло именно в середине XX века с хорошо известными последствиями, а затем она постепенно вытеснялась на периферию цивилизации (во время резни в Руанде вопрос о том кто ты: хуту, тутси, или бельгийский миротворец — смертельно важен, а при пересечении границы Германии и Франции в современном Евросоюзе не вдруг замечаешь, что дорожные указатели уже на другом языке). Постепенно и общественный интерес к теме «нации» слабеет, и концепт обретает всё более отчётливый этатистский смысл. Государству всегда нужно «единство граждан», но для этого ни этнической основы, ни культурного выбора не достаточно. Вне рамок общегосударственных событий трудно отыскать «немца», в кого ни ткни, тот баварец, этот саксонец. Различные диалекты немецкого чётко отличимы: путешественник хорошо понимает где уже пора сменить *Guten Tag* на *Grüß Gott*. И даже если ограничится этнографическим усмотрением, обнаружится, что такой сущности, например, как «русский костюм» просто нет. Разумеется, в куда более понятном смысле существует костюм рязанский, мезенский, или калужский, но «русским костюмом» придётся считать разве что форму кокошно-сарафаных блондинок из ансамбля «Берёзка» позднесоветской поры. Кстати, и берёзка как символ девичьей стройности в одних краях будет заменена скорее тополем, а в других и вовсе чем-нибудь хвойным. Естественная идентичность *локальна* и не согласуется с чаяниями государствостроителей, так что и тосковать на чужбине русский будет не то чтобы непременно о берёзах, но кто о ковыльной степи, а кто и о мшистых озёрах. При этом локальная идентичность не требует в типичном случае государственного суверенитета: фламандцы ворчливо ругаются на валлонцев, но делить Бельгию не собираются. Дело в том, что национализм как социальная технология немного устарел, основные потоки, в которых воплощается и материальная, и духовная жизнь современной цивилизации стали трансграничны: сотрудники крупных корпораций легко перелетают за десять тысяч километров в другой филиал компании в порядке карьерного роста, а химику из Окленда коллега из Загреба ближе морпеха из Веллингтона. Да и «большие батальоны» уже не в ходу.

Последней надеждой националиста, как, впрочем, и расиста в наши дни остается популяционная генетика. Секвенирование генома, современные технологии, численные результаты, словом — наука без мистики или интерпретативного произвола. Сложность, однако, в том, что результат такого исследования представляется в виде вероятностного распределения. Иметь же дело с объектами, которые крайне далеки от привычного образа «вещи», но представляют собой математическую абстракцию вроде пси-функций, привычно разве что выпускникам физических факультетов. Как именно Борису Акунину следует вообразить себя ещё и якутом с вероятностью 0,002? И какой процент достаточен тому, кто уже выучил слово *гаплогруппа*, чтобы почувствовать себя «арийцем»?

А ведь современная наука вообще не склонна баловать нас простыми и однозначными результатами, напоминающими твёрдые и ухватистые *вещи*. И теоретические модели, и экспериментальные результаты чаще сервируются в виде функциональных зависимостей, да ещё и под вероятностным соусом. Простые обобщения также могут быть предложены, но с оговорками об их ограниченной применимости. Соответственно, и в деликатной сфере социального знания уместно ожидать появления типологически сходных описательных практик. Чего-то вроде «термодинамики людей». То есть системы, которая позволяла бы от описания свойств индивидов переходить к интегральным характеристикам ансамблей, соотносимым с

параметрами, полученными как обобщения экспериментальных данных. Так газ может, конечно, характеризоваться определённым запахом, но говорить о запахе отдельной молекулы не имеет смысла. Для описания поведения газа важен ограниченный набор параметров (молекулярная масса, температура, и т. д.). Отдельная молекула может приобрести энергию, достаточную, чтобы покинуть сферу земного притяжения, но для описания свойств атмосферы следить за каждой траекторией излишне, довольно будет и статистического распределения молекул по значениям энергии. Если достаточное количество представителей какого-либо народа и могут обнаруживать интегральное качество, обозначаемое понятием «народный дух», то всё же для прогнозирования поведения больших ансамблей таких индивидов это понятие скорее всего бесполезно, а к отдельному представителю неприложимо.

Самым естественным элементом, на котором можно было бы строить понятие «нация» остаётся язык. Преимущество лёгкой коммуникации на родном языке во всяком случае вполне реально и может учитываться. Возможно рекрутование в армию инородцев в Российской Империи вводилось весьма медленно не только из опасения нелояльности, но также из-за сложности управления солдатами, не понимающими языка команд. Впрочем, большинство известных ныне массовых языков сформировались в результате конкуренции родственных диалектов и отражают историю успехов череды государственных образований в деле распространения влияния на смежные территории. Так гегемония Кастилии определила норму испанского языка, а московский диалект утвердился в качестве образцового русского.

Однако, такое связующее начало, как преобладающий язык, то есть язык гражданской нации не порождает какого-либо единства большего, чем принадлежность к государству. Каталанский, баскский и галисийский не мешают их носителям пользоваться кастильским, пока принадлежность к испанской нации (то есть гражданство государства Испания) представляется жителям этих территорий обстоятельством в большей мере полезным, чем обременительным. Жители Каталонии при этом долгое время лишь подчёркивали языковое и культурное своеобразие, да писали на стенах: «¡Cataluña no España!», баскские сепаратисты взрывали бомбы, а галисийцы практически никак не демонстрировали своё «национальное самосознание». Потом баски примирились с Мадридом, выторговав себе особые права, в то время как добрая половина добрых каталонцев втянулась в политический процесс, который может со временем привести к появлению государства Каталония, которое, если окажется достаточно живучим, произведёт каталонцев как *народ* и Каталонию как *страну*, особенности которых мы станем изучать, собираясь в очередной раз всё в *ту же* Барселону.

С недоумения по отношению к словам, используемым в патриотических речениях мы начали этот разговор и возвращаемся к понятию «патриотизм». Вообще говоря, сочетание рационально обусловленной лояльности по отношению к группе с аффектом приписывания высокой ценности именно своей группе, обусловленным потребностью в психологическом комфорте, характерно для любых видов коллективной идентичности. Представление о племенной исключительности типично: лингвисты подтверждают, что для многих языков самоназвание члена племени означает просто «человек». А прочие, стало быть, — не совсем, от «рабов по природе» в рассуждении учёного грека, до объектов гастрономического интереса в более архаичных сообществах. Этот организующий социальный механизм знаком нам неонастырьке, так как регулярно воспроизводится: понятно же, что в пятом «А» одни хлюпики и ябеды, а вот в пятом «Б» — отличные парни (и наоборот). Эта твёрдая убеждённость, однако, разрушается к старшим классам, не в последнюю очередь, думается, потому, что индивидуальный интерес к какой-нибудь барышне из восьмого

---

«А» оказывается сильнее племенной солидарности.

Ведь в любой гражданской войне «патриоты» сражаются с «патриотами». Однако, право определять характеристики «отечества» будет принадлежать той группе, которая одержит верх и сформирует систему власти, хотя складываться соответствующие дискурсы могут уже в ходе самой борьбы. Так в эфемерном Российском государстве, действовавшем в Сибири был в ходу лозунг «За единую Россию», несмотря на то, что фрагменты распавшейся Российской Империи демонстрировали явную склонность к дальнейшему обособлению, а в неокрепшей РСФСР провозглашали: «Социалистическое отечество в опасности», не смущаясь тем, что юный возраст социалистического новообразования плохо согласовывался с метафорой отцовства. И при этом известно, что эмигранты могут становиться патриотами на новом месте, что только подчёркивает функциональность, а не субстанциальность «патриотизма». Характерны примеры успешных эмиграций, таких как, например, история казаков-некрасовцев, которые, соблюдая лояльность к иноязычному и иноверческому государству, более двух веков сохраняли язык, костюм, обычай и в целом — культурную идентичность, руководствуясь собственными общинными правилами, а не неким отвлечённым «национальным самосознанием».

Если и есть идеальное образование, простирающееся за географические или исторические границы и обладающее устойчивой ценностью, то для обозначения такого подходит только слово «культура». При этом культура не склонна быть «национальной», а тем паче «государственной» по той простой причине, что является естественным продуктом деятельности людей и появляется при любых формах организации человеческого общежития. Технологии, появляющиеся на одних населённых территориях со временем неизбежно усваиваются жителями других, в первую очередь, разумеется, технологий продуктивные и разрушительные, поскольку преимущества от их использования наглядны. Социальные же технологии как более сложные (поскольку люди пока сложнее технических устройств) распространяются заметно медленнее, а склонность государств консервировать формы собственной организации под именем «традиционного уклада» этому немало способствует. Но всё же смысловое поле культуры не принадлежит ни нации, ни даже языку, иначе пришлось бы признать, всё, написанное на древнегреческом достоянием исключительно филологов-классиков, да, пожалуй и сообщество этих филологов признать отдельной нацией.

Системы власти действуют в субстрате населения как активный ингредиент, порождая колебательные процессы сосредоточения и распыления человеческих сил. Без этих опасных дрожжей процесс культурогенеза был бы гораздо медленнее, правда и риски потерь были бы меньше. Вопросы о «суверенитетах», «территориальных целостностях» и прочих «национальных единствах» важны лишь постольку, поскольку могут содействовать производству и сохранению культурных артефактов напрямую или косвенно — способствуя благополучию населения, одним из результатов деятельности которого эти артефакты являются.

Вот теперь, высказав предположение о более естественном на наш взгляд порядке слов, хаотичность употребления которых была источником нашего первоначального недоумения, можно бы обратиться и к самим этим словам, спросить об их роде и родстве, связях и превращениях, заслугах и провинностях. Но оставим, пожалуй, это более увлекательное, но менее срочное дело на потом. Кроме того, внятная всем высокая ценность старых слов понуждает относиться к таким раскопкам с некоторой настороженностью. Мы углубляемся в этимологию, добираемся до почтенных корней мёртвых языков, и успокоено утверждаемся на этом солидном фундаменте, хотя реальное словоупотребление могло безнадёжно переиначить

исходные значения, сохранив за этимологическими разысканиями лишь достоинство учёного досуга, но всё же сообщая весомость древнего происхождения сиюминутному просторечию. За значимостью слов ведь всегда стоят основательные тексты, писанные или событийные. Для того, чтобы неологизм «бужум» что-то значил, кое-кому пришлось написать замечательную книгу, и чтобы вновь придуманное прилагательное работало хотя бы не хуже, чем *«superkalifragilisticexpialidocious»* надо изрядно потрудиться, в то время как у нас скоро слепленного прилагательного «пимтиловый» без приложения экстраординарных усилий нет ни малейших шансов прижиться. Поэтому-то люди и впредь будут играть в «казаков» и «разбойников», в «рыцарей» и «пиратов», в «шотландцев» и «русских». Беда только в том, что, когда эти игры не носят характера периодической карнавальной разрядки, они начинают напоминать психопатологию, а играющие становятся опасными для окружающих.

Напоследок, нелишне будет сослаться на данные, полученные поиском по Национальному корпусу русского языка. Употребимость слов из заинтересовавшего нас ряда меняется во времени весьма прихотливо. Так выраженный пик употребимости слова «территория» приходится на 2014 год, использование слова «население» демонстрирует колебания с наиболее значимыми пиками в 1914, 2013, 1823 (три самых высоких в порядке убывания). Всплеск употребления слова «народ» фиксируется в 1818 году, а слова «страна» — в 2014. Для «нации» снова отметим три виднейших пика: 1924, 1890, 2003. Слово «отечество» наиболее употребимо в 1817 году. Три всплеска для слова «родина» приходятся на 1948, 1922 и 2009 годы, для всех производных от слова «патриот» это будут 1947, 1919 и 1896, а для имени «Россия» 1818, 2014 и 1919 соответственно. Нагляднее это можно представить так: в районе 2014 года говорят о *территории, населении, стране и России*, основные слова около 1818 года это *народ, отечество и Россия*, в интервале 1914–1924 первенство постепенно переходит от *населения* (1914) через *Россию и патриота* (1919) к *родине* (1922) и, наконец, *нации* (1924). Одновременная популярность слов *патриот* и *родина* характерна для 1947–48 годов, а о *патриотизме* и *нации* говорили, похоже, в последнем десятилетии XIX века. Для полноты картины следует добавить, что самые заметные пики употребимости слова «государство» и производных от него приходятся на 1812, 1818, 1919 и 2001 годы. Частота повышается в три-четыре раза в сравнении со обычной. Судить же о том каким историческим событиям соответствуют эти дискурсивные сгущения предоставим читателю.

## Some words on some words

Gourko S., Institute of philosophy RAS

**Abstract:** The purpose of the article is to consider the possibility that the usual manner of sloppy play with such concepts as country, people, nation, power, national spirit, etc. grows out of the need any government has to give itself greater legitimacy, pretending to be a kind of natural process based on eternal essences, and not a technology to fulfill the interests of a limited group based on the ability to force. And if the ambiguity of a patriotic or nationalistic discourse cannot be completely eliminated, awareness of such tricks may still be helpful.

**Keywords:** patriotism, nationalism, country, people, nation, state power, parasitism, symbiosis